

Владимир КРЮКОВ

ВОКРУГ ПИСАТЕЛЬСТВА

так я это увидел

Подзаголовок к этим заметкам – слегка изменённое название колонки, которую вёл в английской газете во время войны Джордж Оруэлл, она называлась: «Я вижу это так». А в записных книжках Альбера Камю прочёл следующее: «Я отказывался от моральных оценок. Мораль ведёт к несправедливости... Нужно держаться от неё подальше, согласиться быть судимым, но не судить». Размышление его не показалось мне бесспорным, я не готов с ним согласиться, оно могло быть вызвано настроением минуты. Однако я его тоже как-то учёл.

Что такое признание, особенно в наше, не расположенное к литературе, время? Вот некоторые старшие товарищи обижаются, что строки их нынче не кормят. А раньше – хорошо кормили. То есть их признавали. Но избави Бог от такого «признания». Просто они знали, о чём и как писать, и сколько за это дадут (в рублях).

Провинциальные писатели, конечно, сверялись со столичными, оглядывались на них. И те подавали пример писать «как надо». Я читал статью Константина Паустовского «Простой человек», написанную к 70-летию его тёзки Константина Федина. Трудно представить, что кто-то, стоя за плечом, диктовал ему строки. Трудно представить, что такой настоящий писатель, как Паустовский, не мог дать трезвую оценку творчеству Федина. Что же тогда подвигло его писать с романтическим подъёмом такое: «Мне пришлось видеть, как Федин работает. Ни у кого из знакомых писателей я не встречал такой настойчивости, такого упорства в работе, как у Федина. Он был безжалостен к себе. Он вставал из-за стола с побелевшими от усталости глазами и ещё долго был рассеян и задумчив».

Да, Федин написал в юности замечательную вещь «Города и годы». Может быть, ответ таланта пал на некоторые рассказы и ещё одну крупную вещь «Братья». Но 70-летие приходится на 1962 год. Чем в послевоенную пору отметился Федин? Неужели дифирамб Паустовского относится и к пресловутой трилогии, которую читать просто невозможно и по причине художественной беспомощности, и по той причине, что он легко отбросил ради намеченной схемы всякую правду жизни.

Да, он в это время первый секретарь (1959–1971) и председатель правления (1971–1977) Союза писателей СССР. Может быть, здесь разгадка юбилейной статьи: польстить, завоевать расположение? Но опять же – Паустовский!

Впрочем, вот тоже Паустовский: «В своём творчестве я полагал своим долгом писателя прежде всего писать о гуманизме – о культуре, о человеческом достоинстве. Что и делал. О мерзости я не писал. Я прошу отметить, что ни разу в своих произведениях не упомянул имени того, кто был виновником культа личности...».

Далее – комментарий М. Золотоносова (книга «Гадюшник»):

«Последнее утверждение было ложью: после смерти Сталина Паустовский посвятил этому событию сентиментальный рассказ «Цветы из линованной бумаги» («Огонёк», 1953. № 13. 29 марта. С. 10), передающий ощущение сиротства, охватившее страну. Героиня рассказа Катя «знала ясно и твёрдо: она родилась, когда был уже Сталин, и вся её жизнь прошла так, а не иначе лишь потому, что её, эту жизнь, как и жизнь многих и многих миллионов, направляли его воля к счастью простых людей, его ум, его сердце, его настойчивая дружеская рука».

В провинции равнялись и на столичных поэтов. Фрондирующий Евтушенко был автором стихотворения «Партийный билет», где юный герой взял партбилет убитого лейтенанта («как он просил») и побрёл с уходящими на восток

«...в шубейку женскую одет,
и над своим ребячьим сердцем
партийный чувствовал билет».

Плохо верится в этот пафос? Ничего. Главное: позиция поэта заявлена. Но Роберта Рождественского по этой части ему не обойти.

«Мне Земля для жизни
более пригодна
после Октября
семнадцатого года!

Я в Державу верую – вечную! Эту.
Красную по смыслу. По флагу. По цвету.

Никогда не спрячусь
за кондовой завесой...

По национальности
я –
советский».

Владимир Солоухин, прозревший в горбачёвские годы, опередивший многих перестроечников в разоблачительной статье «Читая Ленина», был когда-то растроган другим:

«Я сейчас получаю партийный билет.
Коммунист умирает, но партия – нет!
Где-то новая смена уходит в забой.
Голубеет рассвет. Продолжается бой».

А ведь это уже были поэты послевоенного, послесталинского поколения. Видимо, подразумевалось, что нужно принять некие необременительные условия для комфортного существования, присягнуть, что называется, на верность.

Но в те же самые годы была и другая, настоящая поэзия. И в этих стихах не присягали, срывая голос. Просто признавались в любви к своей земле, к своей

малой родине, находя такие точные слова, которые благодарно отзывались в сердце читателя. И здесь я признательно назову Николая Рубцова, Олега Чухонцева, Анатолия Жигулина, нашего земляка Василия Казанцева. Их сборники выходили, были доступны. Читай и учись!

Но, знакомясь с молодыми стихотворцами, я с изумлением обнаруживал, как мало они читают. Меня удручало, что они не знают и не ценят опыт своих великих предшественников или достойных современников.

И не только молодым это было свойственно.

Помню, зимой 1968-го, на втором курсе университета, я оттащил в писательскую организацию два рассказика. Они были несостоятельны, теперь я это хорошо понимаю. Наверное, понял бы и тогда, если бы мне попался толковый критик. А тут председатель областной писательской организации, умудрённый Иван Захарович, стал мне пенять на лишние с его точки зрения подробности, детали. «Вот вы тут смакуете, как пар из опустевшей чашки кофе поднимается. Зачем?» «Ну как зачем? Человек ушёл из комнаты, а его присутствие сохраняется. Вот у Бунина на таких деталях...» «Да вы меня послушайте!» – перебил он. Однако через какое-то время я опять выразил несогласие и опять сослался на Бунина. Тут он мне сказал раздражённо: «Да что вы всё Бунин да Бунин! Вот нашли авторитет!». Больше я к нему не приходил. Открылась разница между писателем и членом Союза писателей. Приняли в сообщество, значит, объявили прозаиком или поэтом. Так, что ли, получается? Прямо как на должность назначить.

Годы спустя я общался с другими профессиональными литераторами. Мария Леонтьевна Халфина, человек с большим читательским багажом, говоря о литературной жизни, не оглядывалась на принятые установки, не подбирала обтекаемые выражения. Суждения её были самостоятельны, свободны. (О ней мне довелось написать подробнее в очерке «Мать и сын»).

Познакомился с Виктором Дмитриевичем Колупаевым. Его своеобразную фантастику печатали у нас, переводили во всём мире. Он попал в серьёзную американскую антологию. И при всём этом до конца жизни оставался скромным человеком. Кстати, вспоминают его ученики, он любил выражение Делкарта «Хорошо прожил тот, кто прожил незаметно».

А познакомились мы не как автор и его поклонник, а как читатели самиздата у нашего общего товарища Игоря Мигалкина. Игорь наделял этой литературой и меня, и своего друга.

Первое, что можно было сказать о госте, – худощавый, да что там – очень худой. Потом прибавлялось другое – добрые, внимательные глаза. Хорошо помню: разговор шёл о книге мемуаров Сомерсета Моэма «Подводя итоги». Тогда технари много читали. А Игорь и Виктор были, можно сказать, элитарными технарями – биофизиками. Оба закончили политехнический институт и работали в СФТИ при ТГУ. Игорь представил своего друга и как писателя. Оказалось, что я читал рассказы Колупаева. «Билет в детство» был напечатан в журнале «Вокруг света», который читали тогда все – там почти не было идеологической начинки. Потом его рассказы встретились мне в «Авроре» и опять понравились. Что-то сближало его с моим любимым Брэдбери, да Виктор этого и не оспаривал. Не скажу, что фантастика лежала в русле моих интересов. Но эта фантастика пребывала в области литературы.

Виктор Дмитриевич был много старше меня, родился в 1936 году. Так вот, в конце нашего разговора он отмёл это «Дмитриевич». Предложил общение на «ты» (с этим я не смирялся ещё года два). Его всерьёз занимала наука. Но эти темы меж нами не обсуждались. Хватало разговоров о литературе. Его начитанность вдохновляла. Помню, как высоко оценил Виктор «Москву-Петушки» Ерофеева.

Я очень люблю его повесть «Жизнь, как год», которую сам автор называл «фантастическим повествованием». Другие находят ближе себе что-то другое, благо написал Колупаев немало. У каждого автора есть свои профессиональные тайны. Виктор интересно объяснял рождение своих рассказов: «Сюжет в голову приходил внезапно. Я чувствовал его в свёрнутом виде. То есть в нём уже было всё от первой до последней буквы... но слов ещё не было. Этот свёрнутый в точку сюжет я носил в голове по многу месяцев, пока не наступала пора слов».

Кроме физики и литературы Виктор Дмитриевич любил людей, музыку и собак. Рекомендую меня в Союз писателей, он почти весь свой текст построил вокруг моего рассказа о псе Парамоне, найдя там и наблюдательность, и точность слова.

Но рядом жили и другие писатели. Один на рубеже 90-х(!) сказал с удовлетворением: «В будущем году «Литературная учёба» напечатает фрагменты Библии. Прочитаю наконец». «А ты что, не читал до сих пор?» – спросил я его. И прошёл у нас такой диалог.

– А где?

– В книге, где же ещё.

– Где её взять?

– В церкви.

– Ну ты даёшь!

Русский человек, он потом уехал в Израиль и сочинил сборник иудейских стихов.

Другому в середине 80-х я предлагал почитать стихи Иосифа Бродского. Но, уточнив, что это тот самый эмигрант, он читать отказался. И ведь не надо было запретные книги хранить – я ему предлагал посмотреть мои перепечатки: сможешь хотя бы «своё суждение иметь». Увы, даже знакомство со стихами, изданными ТАМ, мягко скажем, возбранялось.

А когда «Новый мир» напечатал не лучшую подборку Бродского, первую в СССР, этот самый человек хватал за руки коллег, просто знакомых и громко призывал разделить его восхищение, восторг стихами заокеанского мастера. Слышать это было печально.

Рыхлый и вальяжный Валера Привалихин (мы звали его Привал Привалович за леность и барственность) гнал газетные полосы – очерки о деятелях революции. И только исчерпал тему, как Советская власть кончилась. Он тут же спокойно перешёл на полосные материалы о лидерах сибирской контрреволюции. Прямо как нарочно: время работало на него.

Я думал, перелистывая поэтические сборники 70-х – 80-х, изданные в нашей провинции, почему там нет стихов о главном – о Жизни и Смерти. Отгадка проста. Они ведь думали о том, что можно напечатать. Если в столицах

у поэтов с именами ещё что-то проходило на эти темы, то нашим было строго заказано. Но хуже того, они и в стол ничего серьёзного не писали, как показывают сегодня посмертные публикации. Или не умели, или так крепко был вбит в их головы запрет на это.

Да что же это я, ей-богу, пытаюсь прилагать к ним меру, применимую к русской интеллигенции давних, былых лет. Пушкин не думал, что нарушает какие-то запреты, просто по душевному движению отправляя товарищам своё послание в Сибирь. Владимир Галактионович Короленко, не отступая от правды, в конце жизни вступил в спор с Луначарским. Можно простить растерянность Пастернака, когда в разговоре с вождём-тираном не защитил он Мандельштама. Но от вас, наши старшие товарищи, мы не ждали проявлений мужества. Что же вы трепетали перед властью имущими даже в это вегетарианское время – 70-е – 80-е годы? Как простить трусость, когда и жертвенности-то не требуется. Неужели страх из тридцатых перешёл просто по наследству? Как и привычка повиноваться. Исполнять.

Заявить что-то своё, выразить какое-то несогласие – о, это из области чудесного. В характеристике слово «исполнительный» воспринималось с плюсом. Это послушание принято как условие пребывания в литературе. Даже просто уйти в молчание – жест невозможный, непосильный. Почти подвиг.

Великой заслугой было, если один на другого не настучал, не заложил, не отрёкся. Этого достаточно, чтобы оставаться друзьями. А уж если кто-то кого-то осмеливался мягко защитить – о, это уже героизм!

Наши великие авторы XIX века завещали: писать надо о том, что никому не ведомо, неизвестно, но учуяно в воздухе времени. Лев Толстой говорил, что это неизвестное может быть даже противоположным тому, что для современников считается несомненным. Искусство должно брать за душу, вызывать гнев и радость. Я помню такие вещи, которые открывали глаза, изменяли отношение к миру, меняли душевный настрой. Их написали те, для кого писательство, по большому счёту, не было профессией, а стало жизнью и судьбой. Нередко они оставались авторами двух-трёх книг. Я думаю: можно не очень много сделать в жизни, но главное – не сделать ничего против совести. Даже в повседневной жизни.

Гладкопись, поощряемая большими литчиновниками, собственно, отбила у читателя доверие к пишущему человеку, веру в то, что писатель поделится с ним своими сомнениями, своей выстраданной правдой.

Если можешь не писать – не пиши, повторяли наши наставники. А сами активно переводили бумагу. В их поделках не было той мысли, которая неотступно мучила, той тревоги, которая не отпускала стихотворца или прозаика. Вполне можно было этого не писать. Но они писали и издавали. Приветствовали тех, с позволения сказать, творцов, которые умели угодить, а если тоньше, угадать, что нужно. Они и внешне нередко напоминали этаких официантов.

Да, они научились писать то, что наверняка пройдёт. Забавно, что писательское ремесло недавней поры можно определить массой цирковых терминов: жонглирование, баланс, эквилибристика...

И понятно, что им не нужны были «забытые» произведения, такие, по прочтении которых всем становилось ясно: нет, эти, нынешние, «не дотягивают». У тех культура несравнимо выше.

Как пример, несколько слов о писателе, возвращённом в годы гласности.

Евгений Иванович Замятин (1884–1937) в дореволюционной России пострадал за большевистскую деятельность, даже судили за повесть «На куличках». А Советская Россия отвергла его как «противника революции и представителя реакционных идей» (так в Малой Советской Энциклопедии, т. 3, 1929 г.). Он раздражал любую власть. В «новой» России раздражение шло оттого, что социальные рамки ужесточались, а самостоятельный и прихотливый его талант не хотел признавать этого. Человек, по Замятину, с неизбежностью выламывается из любых рамок, это как бы и не требует доказательств. И протест Евгения Замятина против всякой косности в жизни и в искусстве был не декларативным, а именно художественным. Он предлагал своё, новое, самобытное слово, свой подход к материалу для прозы. Конечно, раздражала «фантастика» Замятина, вырастающая из реальности, но особой – абсурдной реальности. Советский классик К. Федин вместо того, чтобы оградить его от агрессивных дураков, не дающих писателю печататься, этак «сочувственно» заметил: «Замятина испортили две болезни – «пристрастие к сатире» и «формальная изысканность».

Комментировать это не хочется.

В нашем узком кругу мы томским мастерам слова никак не завидовали. То, чем они занимались и каких успехов достигали, не могло вызывать зависти. Когда-то Анна Ахматова так определила эстрадную поэзию рубежа 50-х – 60-х: «Это другая профессия». Вот и мы могли бы повторить это по поводу писателей нашего мелкопоместного уровня.

В конце 1980-х опубликовал я в молодёжной газете статью про городской литературный семинар, где позволил себе в некоторых местах ироническую интонацию. Реакция, как говорят, последовала незамедлительно. «Главный» томский поэт позвонил мне домой, гневно выговорил, а потом вскрыл «подспудные мотивы», двигавшие моим пером. «Мы примерно ровесники, – говорил поэт, – но у меня вышло шесть сборников, а у тебя – ни одного. Вот обида и зависть взыграли». Выслушал я это спокойно, но грустно подумал, что такая логика, к сожалению, кого-нибудь, может быть, и убедит, будет усвоена и вполне нормальными людьми. Но ведь каждому не объяснить, что да как. И недостойно это, а может, даже унижительно.

Они любили ссорить людей. Меня пробовал рассорить с давним товарищем Женей Зиминым матёрый томский автор Борис Николаевич. Это есть в его мемуарах, где чувство правды ему откровенно изменяет. Он уверял Евгения, что нет и не может быть у нас ничего общего. А мы были дружны уже десяток лет.

Или вот ещё. Я напечатал в молодёжке стихотворение Александра Пименова. Там в «Песнях западных славян» рядом с Чебурашкой возникал жид (как и у Пушкина, если помните). Поволокли на меня: ладно, юный стихотворец не понял всей уязвимости своего творенья, но куда смотрел более искушённый составитель страницы. И Саше в это время напевали: ведь он (то есть я) чуть ли не подставил тебя. Вообще... чего ты с ним дружишь? Тут они Сашу доставали, и сказал он, что это уж его дело, с кем дружить, и что за свои поступки он сам отвечает, и за то, что написал, тоже.

Те ещё были писатели.

Писатели наши и думать не смели, что есть где-то в окружающем мире другая литература. Литература, престаупающая грань, некую запретную черту. За чертой для наших правоверных лежала чужая, враждебная область.

Но, оказывается, тамиздат (и даже самиздат) почитывала нынешняя чиновница от культуры. Именно почитывала. Потому что эти книги, эти тексты не сбили её с верного курса, она последовательно шла по ступеням карьерной лестницы (впрочем, не слишком высоко поднявшись). Оказывается, её папа приносил полистать что-то запретное. Как же этим не воспользоваться? Момент престижа, что ли. Однако именно она предложила включить в список намеченных томских классиков Вадима Кожевникова. Знала наша чиновница, что роман «Щит и меч» был в юности любимым чтением Президента России.

Некоторые околотитературные столичные ребята задирали меня: «Из Томска? А, родина Георгия Мокеича!». Что же, приходилось отшучиваться. Хотя Георгий Марков и полезное дело устроил – дал много денег на строительство библиотеки в родном селе. Может, отчасти потому он в представлении томичей чуть ли не титан отечественной словесности. Не логично? Ну а как ещё выразить благодарность за его доброту и щедрость.

Да что же такое, ей-богу. Неужели некем всерьёз гордиться? Нет, почему же. В Чаинском районе вырос, в Томском университете сформировался один из лучших лириков XX века Василий Иванович Казанцев. В Томске жил и творил Виктор Дмитриевич Колупаев, фантаст с мировым именем. А как замечательно начинал Виль Липатов! Не все помнят его блестящий рассказ «Мистер-Твистер», но всеми любим участокный Анискин из «Деревенского детектива». Да, после «Серой мыши» Липатов не напишет ничего равного по силе этой повести. Пойдут сказы про директора Прончатова и бескомпромиссного комсомольца Столетова, обеспечивающие безбедное существование. Что ж, и так бывает.

Повторяя вслед за умными людьми, что искусство есть оправдание жизни, я не удовлетворялся дальнейшей логикой, что оно может существовать без какого-либо контакта с возможной аудиторией, что художник может оставаться наедине со своим творением. Нет, отчуждённое творчество, не имевшее выхода к людям, было мне чуждо.

Но ситуация оказывалась тупиковой. Литературные объединения тех лет их участникам памятливы добрым дружественным общением. Но неперменной сверхзадачей там проходило обучение тому, о чём надо писать, и о чём нежелательно. На семинарах для молодых поднималась на щит некая самобытность. Никто толком не растолковывал, что это такое, но многие молодые понимали это как незасорённость мозга чужими текстами. И тогда замечательно отговаривались таким образом: не хочу испытать чьё-то влияние и потерять свой неповторимый голос. Вроде бы правильно это назвать невежеством. Нехорошо быть неотёсанным. Нет, возражали мне, нехорошо поэту быть «больно умным».

В ту пору серьёзным было обвинение в «книжности», «культурности», «сложности». Именно обвинение. Человек с писательским билетом на таких семинарах мог с укором произнести: «Я так ничего и не понял». А стоило ли этим гордиться? Может быть, лучше постараться понять?

Мне не верилось, что возможна самобытность, возникающая из незнания. Скорее, она взрастёт и окрепнет, преодолев подражание. И тогда задышат почва и судьба. Тут, к слову, подвернулась мне книга о процитированном только что авторе. Наталья Иванова, «Борис Пастернак. Времена жизни». Как накачивает желание сказать красиво, раз уж пишешь о поэте: «Зимние стихи, зимний пейзаж, «свеча горела на столе», – конечно же, зимой, протаивая лунку в замёрзшем окне» (стр. 8). Побойся бога, уважаемый литератор – ведь свеча стояла на столе, не на подоконнике. Едва ли она при всём желании смогла бы «протаять лунку». Это я к тому, что и детали жизни тоже неплохо бы знать.

В наши дни пригождаются навыки из былых лет. Как умеют передёрнуть, добиваясь задуманного результата! Тут и понятия порядочности, принципиальности становятся относительными. Вот так дружески-снисходительно пишет Евгений Городецкий об Александре Плитченко (Сибирские огни, № 4, 2013, «Дорога к Богу»): «В те времена без членства в партии нечего было и помышлять о карьере, в этом заключались основные правила игры. У писателей, «бойцов идеологического фронта», проблем с приёмом в ряды КПСС не возникало, не возникли они и у «мальчиков» (это Карпунин с Плитченко) – обоих успешно приняли». Отец Плитченко – фронтовик – был убеждённым коммунистом. «Но в семидесятые годы время идеалистов давно кончилось, и в партию вступали ради карьеры, так что Александр здесь не исключение. А то, что понятие «коммунист» непременно означает «безбожник», причём воинствующий, – об этом Александр не задумывался, все так делают. И что ему пенять, не он первый, не он последний».

Этот пассаж уже готовит нас к повороту героя на 180 градусов. В годы, когда партия объявила гласность, Плитченко стал ратовать за передачу разрушенного собора Александра Невского Новосибирской епархии. Оказывается, он «никогда без крайней нужды (хорошо!) не декларировал свою приверженность коммунистическим идеалам... Он всего лишь соблюдал правила игры, не более того. Лампада веры не гасла в тайниках его души во все времена».

Какая чудная фраза в финале – просто слеза наворачивается.

Я встречался с Александром Ивановичем в его квартире в Академгородке. Было это в середине 1980-х. Мы приехали к нему с моим другом Андреем Сагалаевым после звонка по телефону. Андрей был тогда под впечатлением от «Двери на холме» Плитченко, живо напомнившей нам аксёновскую «Затоваренную бочкотару». Писатель нас принял тепло, говорили мы о разном. Я, в частности, запомнил его смешной рассказ о том, как они с товарищем пили портвейн на сапоге поверженного памятника тирану в Новосибирске. Вспомнили «Дверь на холме», и он простодушно признал, что без Аксёнова не обошлось. Взял читать мои стихи. У меня сохранился его ответ: серьёзно и строго разобрав мои строки, он советовал писать дальше, готовить книжку. Сохраняется в памяти и образ поэта, совсем не похожий на ловкача, изображённого в мемуаре Городецкого.

Ах, эта изворотливость! Забавно используют ныне образ монстра-государства СССР. Он, если надо, предстаёт даже страшнее, чем был реально. В телепередаче о Р. Рождественском вспоминают, что поэт вступил в партию. Ну хорошо – был такой факт, и ладно. Но одна фанатка-поклонница кричит

яростно: «А подумайте, что случилось бы с его семьёй, откажись он и не вступи?!». Правда, тут же предлагается ещё одна спасительная версия: «Он искренне заблуждался, когда это сделал».

На полном серьёзе написаны и такие заметки о книжной серии «Сибириада», основанной в 2006 году издательством «Вече».

Итак, «Дмитрий Володихин. Сибирь неисчерпаемая («Сибирские огни» № 7, 2015)». Прочитирую подробно. Уверен – получите удовольствие.

«У Натальи Иртениной в «Царь-горе»... наши современники связывают верёвочку, казалось бы, разрубленную столетие назад. Офицер-монархист Пётр Шергин участвует в попытке освобождения Николая II из екатеринбургского плена. Ссылный император в последний момент отказывается от бегства, имея шансы спастись. Шергин получает от него послание, всё объяснившее. Там сказано, что государь сознательно пошёл по пути жертвенному – зная, что Россия будет спасена через много десятилетий, но сейчас не способна покаяться за грехи, за всю ту гниль, которая накопилась в народной душе, а потому на исходе дней для царя не может быть спасения на штыках, ведь от Бога ему открыта только дорога мученичества...

Подавшись в колчаковцы, Пётр Шергин добирается со своим полком до Алтая. Обретя здесь мистическое откровение, он оставляет своему далёкому потомку бумаги, связанные с Николаем II и предсказанием о грядущем спасении России. А этот самый потомок, Фёдор Шергин, неудачливый аспирант и коммерсант с уголовной огранкой, в наши дни бежит на Алтай от бандитской мести за долги. Столичный хлыщ, бабник, болтун, он должен покинуть Москву и уносить ноги подальше. Однако спасению его мешают inferнальные силы. Добравшись до Алтая, Фёдор Шергин оказывается в критической ситуации. Под занавес ему всё же достаётся наследие предка, и Россия белая, Святая Русь как будто передаётся ему вместе с бумагами покойного офицера в законное владение...»

Автор заметок делает далеко идущие выводы:

«Такова логика единого «сибирского времени»: что завязалось давным-давно, развяжется здесь же, на великих равнинах, в тёмных урманах и раскольничьих скитах, на волнах студёного моря. Через век, два, может быть, через три, но когда-нибудь — обязательно развяжется. Логика сибирской литературы, лучшей её части, ведёт к осознанию прерывистого, дискретного единства в громадном хронологическом потоке «Сибирь».

А вот и замечательной силы финал:

«Остаётся повторить: «Сибириада» в современной литературе России – явление уникальное, каким-то чудом продержавшееся десять лет и по сию пору вполне живое. И не сказать, чтобы составители с жаром угождали вкусам массового читателя. Серия живёт в широком диапазоне: от чистых приключений до высокой прозы. Она уже подарила русской словесности несколько книг, которые впору прописывать в учебниках...».

Те ещё писатели. Никуда они не делись. И рано говорить, что их время прошло.

ПРОЩАЙ, КНЯЗЬ!

Сейчас по Нью-Йорку холодному,
А может быть, по Лондону,
А может, по Мюнхену бродит он,
Смоленский мальчишка Иван.

Давно на чужбину заброшенный,
Всё бродит он, всё бродит он,
И знает одно лишь о Родине –
Что Родины нет у него.

Эту песню проникновенно, со слезой, пел знаменитый в 1960-е Эмиль Горовец. Её героем был эмигрант второй волны, который остался на Западе после гитлеровского плена.

А мы распевали эту песню с Володей Львовым, бредя именно по Лондону, по ночному Лондону. В свои 50 лет я впервые оказался за рубежами нашей страны, и не где-нибудь, а сразу в Великобритании. Вообще-то я сказал себе, что не поверю в происходящее, пока не ступлю на землю Хитроу. Но поверил чуть раньше, когда самолёт стало бить мелкой дрожью и стюардесса пояснила, что мы попали в турбулентный поток над Амстердамом. «Над Амстердамом», – повторил я и понял, что преодолел притяжение любимой родины.

Каким образом оказался я на борту этого самолёта? Сделаю необходимое пояснение.

В 1990 годы о правах человека заговорили и в российской школе. Но у наших учителей не было ни опыта, ни достаточных знаний. И всё-таки кое-где нашли верные подходы. Зарубежные эксперты, посетив Томск, высоко оценили организацию работы по изучению прав человека в технико-экономическом лицее (бывший российско-американский). Именно здесь работал преподавателем истории мой товарищ со студенческих лет Владимир Львов. Именно здесь, на базе лицея, и была проведена летняя школа. Я был среди учеников, хотя в ту пору уже не был школьным учителем. Но активно сотрудничал с газетами города, мне выпала роль просветителя. И вот мы – шестеро учеников летней школы – стали на восемь дней гостями известной неправительственной организации «Международная Амнистия».

Нас с Володей поселили в одной комнате уютного и демократичного «Джордж-отеля» в центре Лондона. В первую лондонскую ночь мы проснулись в три часа. Сна ни в одном глазу. И немудрено: в Томске сейчас пробудился уже самый ленивый – десять утра.

– Чего ж мы лежим? – сказал Володя. – Будем потом горько сожалеть о потерянном времени.

Мы вышли в незнакомую октябрьскую ночь. Нет, улицы не залиты светом. Его ровно столько, сколько необходимо для безопасного передвижения. (Я не говорю о плещущих огнями Пикадилли или Стрэнде – этих витринах города). Идти можно достаточно уверенно – пешеходные тротуары не обрываются

резко, как у нас, на въездах во дворы и на пересечении с переулками, а плавно переходят в дорогу.

В полном безлюдье лежал перед нами район Лондона. Вдруг как из-под земли вырос громадного роста негр. Ладони его были сложены в замок, он потряхивал этой рукотворной копилкой, там гремели монеты. Довольно громко он стал взывать к нам: «Ченч! Ченч!». Возможно, речь шла об обмене. Но какой обмен на ночной улице? Мы дружно замахали руками, изображая полное непонимание. Не сразу, но отстал.

Так получилось, что свободное от встреч и занятий время мы проводили с Володей. В первый же вечер натолкнулись на магазинчик со своей особой аурой. «Крот-джаз», или лучше «Джазовый крот» ему название. И правда, такие милые антики-кроты копались там в коробках и на полках, в дебрях компакт-дисков и пластинок. И мы с Володей тотчас присоединились к ним. Он быстро выудил в «компашках» Синатру, а я в архивном виниле откопал подлинные шедевры – оркестр Бенни Гудмена, Луи Армстронга в компании звёзд, Чета Бейкера. Из динамика изливались звуки трубы, поддерживаемой контрабасом. Два продавца напоминали вчерашних хиппи, хотя лишь один был длинноволос, а другой – вполне лысый. К ним подходили, заговаривали, смеялись завсегдатаи, и я по-хорошему им завидовал.

И ещё один магазин мы открыли. Он был материальным аргументом против лгунов, уверявших, что Запад не читает настоящей литературы. Не скажу «за весь Запад», но здесь в книжном развале встречались Чехов и Достоевский, Диккенс и Фаулз, Толстой и Пастернак. Мы обозвали про себя магазинчик «Академкнига», но толкались тут читатели совсем не академичного вида, простые люди разного возраста.

Впрочем, кто их разберёт, чем они занимаются в жизни. Одеваются англичане просто, лишь бы удобно было. Женщин с подведёнными глазами мы увидели только на открытии в выставочном зале экспозиции нашего Эрмитажа «Русское золото». Вот там, в холле, и правда, блестело золото и отливало серебро, прогуливались мужчины во фраках и дамы в платьях с обильным вырезом со спины.

...В последний вечер мы отправились в уже ставший родным паб под названием «Лондон». Здесь мы близко – буквально локтями у пивной стойки – общались с простым английским народом. Здесь видели на телеэкране разгром нашим «Спартаком» их «Арсенала» и бурную реакцию болельщиков. Здесь всегда было шумно и висел табачный дым, но уходить не хотелось. Несмотря на многолюдье ни разу не возникло какой-то ссоры.

А в тот последний вечер как по заказу нам была явлена нестандартная для демократической пивной картина. Вошли мужчины совсем не пролетарского вида, можно сказать, джентльмены, и дамы в вечерних длинных платьях. Забавно, что они спокойно вписались в обстановку. И мы стояли рядом, потягивая свой «Кроненбург» и «Гиннесс» и смотрели на золотые (или золочёные) браслеты на щиколотках дам.

А потом, сами понимаете, вновь Хитроу, самолёт, который уносил нас, и Великобритания из реальности превращалась в золотой сон, перемещалась в копилку памяти.

«Я берег покидал туманный Альбиона...».

Почему я так подробно вспоминаю эти дни? Потому что по возвращении мы уже так тесно не общались, хотя и виделись неоднократно.

Мы знакомы со студенчества, с 1967 года. Факультет у нас тогда был ещё не разделён – историко-филологический. В одной комнате общежития оказывались и будущие филологи, и будущие историки. Володя был томич, но, как и положено, бывал здесь в долгих гостях. Вот как-то на втором курсе в тёплой компании нас и познакомили. Кроме имени у него было навсегда приставшее прозвище Князь. Понятно, историки услышали сочетание «князь Львов». А ещё, конечно, от манеры держаться с достоинством аристократа и несколько отстранённо. Красивый юноша смотрел на тебя как будто с некоторым вызовом или высокомерием. Но после общения за стаканом вина он представал другим, а ты принимал эту манеру – ну и пусть, если ему так нравится! Но тут надо было знать меру. Как-то я поприветствовал его небрежно: «Привет, Князёк!». Он взглянул с усмешкой и сказал язвительно: «Привет, поэтик!». Прозвучало обидно.

В пору учёбы на ИФФ кто-то сочинял стихи, кто-то пел в капелле, кто-то играл в местных бит-группах, а кто-то, как Боря Овценов, пел под гитару свои песни. Обнаруживались организаторы других творческих начинаний.

Князь стал одним из создателей рукописного журнала. Всё было сделано по правилам того времени: сверено со студсоветом. Первые страницы – жизнь факультета, далее находилось место для творчества молодых и для гостей города. Мы с Володей встретились в гостинице с участниками классного коллектива «Поющие гитары» (тогда их называли ВИА, надо расшифровать: вокально-инструментальный ансамбль). Забавно прошла наша встреча. Князь флиртовал с Фёдоровой, солисткой группы, мне пришлось взять информационную часть на себя. Но «журнальное дело» не увлекло его всерьёз и надолго.

На третьем курсе стал собирать сборник стихотворений студентов ИФФ. И собрал. Вроде в многотиражке нашей затею одобрили и хотели такую книжицу напечатать. Но дальше дело не пошло. Почему? Кто знает. Мы спрашивали, он просил подождать. Не дождались. Уже в начале 2000-х подарил мне рукописные листы, собранные под тетрадную обложку. Там и стихи самого Князя:

Меня полюбят девушки Парижа,

И я убью второго Бернажу.

Теперь уже приходится пояснить, что Бернажу – известный фехтовальщик, гвардеец кардинала Ришелье, потерпевший поражение от Д'Артаньяна. Неужели (неровен час) скоро придётся объяснять и кто такой Д'Артаньян?

После вуза Князя замели на офицерскую службу в Заполярье. Наша встреча в кафе «Иней» после его возвращения потом переключалась в мой рассказ. Он говорил, что очень любит Томск, скучал по городу. Ну и, само собой, воспоминания скрашивали, насколько возможно, постылую службу.

После возвращения стал он преподавателем в техникуме, преобразованном в русско-американский колледж. Пусть история и обществоведение не были здесь предметами из главных, старался, чтобы ученикам это было интересно. Коллеги вспоминают его добрым словом.

В начале 90-х, помню, столько он мне рассказывал об истории томских улиц и домов, даже тетрадь с некими тезисами показывал. Но так ничего и

не написал, не попытался подготовить к напечатанию. А из тетради выбрать было нечего. В конце концов он махнул рукой: «А, сейчас пишут все, кому не лень. Вон сколько навалили». Вроде того, что ему и не стоит быть в этом ряду, не княжеское это дело.

Вспоминаю этот замысел в чередѣ подобных, несбывшихся.

Князь загорался и гас. Ну а если честно, не могу сказать, кто из нашего окружения так уж идеально состоялся.

И всё-таки Князь наконец нашѣл себя. Ведь и вправду аристократ не делает карьеру, не ловчит, обманывая ближнего. Он обретает значимость по-другому. Вот и Князь неким образом поднялся над нами, стал если не повелителем и демиургом, то обладателем Большого Знания. Вдруг сделался он ходячей информационной базой для выпускников факультета. Он знал, как сложилась жизнь и судьба многих и наших сокурсников, и ребят постарше и помладше. Был, что называется, в курсе. Зачем ему это надо? Ума не приложу. С появлением соцсетей его личное справочное бюро укрепилось. Он устроил дело так, что к нему, как в океан реки, стекалась разнообразная информация. Стал мобильнее – сводил друг с другом потерявших контакты после расставания с вузом. При встречах я увидел, как он этим всерьѣз увлечѣн.

У меня во время учёбы сложился круг друзей, товарищей, приятелей. После выпуска я с ними поддерживал отношения: с кем-то встречался, пил, делился замыслами. С кем-то обменивался письмами. С кем-то лишь открытками. Остальные естественным образом отпали навсегда. Ни к кому из них не было недоброжелательства, зависти, ревности. Пожалуй, не вся правда. Некоторые были неприятны – пошляки, заведомые карьеристы, партийные чиновники, приспособленцы. Но вот и об этих дрянных людях знал Князь. Иногда пытался и мне рассказать, как да что с ними. Я отметал с порога. Если это есть университетское братство, говорил я ему, готов из него выйти. Он посмеивался.

Наверное, я в чём-то не прав. Может быть, излишне непримирим. Вот недавно пришло электронное письмо от Алексея Демьянчука. Письмо о Князе.

«Всѣ больше и больше удаляемся мы друг от друга, от студенческого нашего братства. Чаще это происходит почти незаметно. Ну, почил в Бозе такой-то... Небесное царствие. Иной почил, третий... А вот ушѣл Князь – и оборвалася некая очень важная нить. Князь был такой НАШ, такой человек ИФФ. До последнего дня жизни он оставался студентом. Все почти связи, вся информация, всѣ дыхание наших студенческих лет приходили от него. И, что очень дорого, не от Владимира Викторовича, но от Вовки, от Князя... И как-то пусто становится в Томске, в универе. Потому что и Томск, и универ без Князя – пустая статистика, пыльный учебник истории, валяющийся где-то на антресолях со старыми валенками и забытыми гаечными ключами».

Последние строки про пыльный учебник и старые пимы на антресолях – почти такой же пыльный расхожий образ беллетристики прошлого века. Но все чувства и переживания Алексея я понимаю.

Нет, университет без Князя не стал для меня пустой статистикой. Всѣ-таки это нечто другое, многослойнее и богаче. Но, кстати, и не этот, величаемый сегодня запанибрата «универ». Я, слава богу, застал времена, когда ещё не за что было его так обзывать.

В начале двухтысячных я шёл к площади Революции (ну пусть Новособорной), привычно не глядя по сторонам. «Вова!» – окликнул меня Князь. Он сидел на скамейке, постукивал ладонью рядом с собою. Я сел. Князь потягивал из бутылки напитков.

– Будешь? – протянул мне.

Это называлось «джин-тоник». Я глотнул – не понравилось. Дальше Князь пил один. Думаю, ему было приятно само название.

Позади нас был торец Сибирского физико-технического института. Напротив, через дорогу, начиналась университетская роща. А здесь шли мимо красивые, как всегда в этом месте города, девушки.

– Вот что забавно, Вова, – сказал Князь, – когда мы здесь пробежали студентами, эти девушки ещё не родились. Да какое там, они далеко ещё не были запланированы. А глядя на них, вспоминаем былые годы.

Ахматова не любила в воспоминаниях прямую речь. Вот и я не стану. Князь спросил о том, не кажется ли мне, что наши лучшие годы – это студенческие. По его интонации я понял, что он-то себе на этот вопрос ответил. Я, помню, что-то хотел возразить, но, помолчав, согласился. Да, потому-то мы сейчас, вполне себе стариканы, вспоминаем их благодарно. Мы ещё поболтали, разошлись, не уговариваясь о новой встрече, мы и так виделись – город маленький.

Была у нас и такая, можно сказать, забава. В тот день, когда по телику вечером предстоит программа о джазе или западной рок-музыке, или фильм с участием кумиров юности Кирка Дугласа, Юла Бриннера, мы звонили друг другу – кто кого опередит, – сообщая о времени и канале, на котором это прокатят.

Вот тоже интересный эпизод нашей жизни, причём с точной датировкой. 21 декабря 1979 года во время обеденного перерыва в нашей районной газете мы с Толиком Перервенко двинулись к газетному киоску. И встретили тут Князя. Он тоже, как и мы, подошёл за газетой «Правда». С чего это вдруг? А дело в том, что исполнилось 100 лет со дня рождения Сталина. И мы хотели узнать, что они там наверху решили: безусловно восславить Отца Народов или же сделать некоторые оговорки. Нет, полного реабилитанса не произошло. «Перегибы» были уравновешены «успехами». Ну что ж, хотя бы так. Хорошо было бы это отметить. Но нам надо было сдавать секретарю полосы в номер, и мы распрощались.

Ещё помню: был однажды правозащитный семинар в каком-то месте. Объявили перерыв, все вышли в коридор, а там из радиодинамика пел Ободзинский, была передача о нём. Прошло время, всех позвали в зал, но мы позволили себе задержаться и дослушать.

Однажды накануне своего дня рождения Князь позвонил, предлагая местом завтрашней встречи сделать двор в моём Тимирязево. Именно двор. Погода стояла ласковая, жара немного свалила. Назавтра, 18 июля 2003 года, к обеду, появились в этом моём дворе Князь, его взрослый красивый сын и двое незнакомых мне мужчин. Перезнакомились мы быстро при поддержке вина и пива, посидели за столом, я предложил пойти к нашему озеру, там бродили по берегу, сидели у воды. Остались хорошие, с настроением, фотографии того дня. Кроме названных, на них моя жена Ольга и наш сын-трёхлетка. А Володе, значит, исполнилось в тот день 54.

Через 17 лет и 1 месяц после этого дня Володя Львов, наш Князь, умер. Я узнал об этом вечером после его похорон.

...Мы с Ольгой подъехали к дому на улице Карла Маркса. На нём был номер из моей записной книжки. Но что-то было не так с этим добротным сооружением в два этажа. Я растерялся. Ольга оказалась сообразительнее и увлекла меня во двор. О боже! Ну конечно, со двора к нему примыкает ветхий двухэтажный дом. И я узнаю его. С моей рассеянностью простительно, и был-то здесь всего несколько раз: в студенческой юности, когда Князь захотел показать мне свою коллекцию марок. Потом с Толиком Перервенко в конце 90-х зимним вечером явились в гости. Наконец, уже в новом тысячелетии отмечали здесь приезд в Томск Лёши Демьянчука. Из группы отмечавших нет уже Бори Овценова и Жени Зырянова. А теперь вот нет и хозяина квартиры.

Мы поднялись по дряхлой лестнице на площадку второго этажа. Не покидало ощущение убогости, ветхости окружающего – раньше этого не замечалось. Мы постучали в соседнюю дверь, которая почти сразу и открылась. Соседка Светлана заговорила с нами без предварительных приглядываний и выяснений, кто такие. Она сказала, что дом этот постройки 1860 года. Она рассказала о последних месяцах Князя. Во-первых, он оставил преподавание в своём колледже. Во-вторых, его оставила жена. Об этом он говорил мне по телефону. Он скучал по дочерям. Почему-то я уверял его, что это глупость, затмение, что она непременно вернётся. Я хорошо помнил их вместе, рядом. Она не вернулась.

Томск пустеет с уходом моих товарищей. Я по слепоте принимаю за них других, чем-то похожих внешне людей. Многих уже не встретить на главном проспекте города, и Князя на набережной Томи неподалёку от его дома тоже.

УРОКИ НЕМЕЦКОГО

Я полюбил искусство в том числе и за его космополитизм. Чтобы не звучало так подозрительно, скажу: за его всеобщность. Его ценности принадлежали не государству, а людям, желающим их понять и принять. Время и обстоятельства помогали либо мешали проявиться этим ценностям, но в итоге они становились нашим общим достоянием.

Однако я всегда знал, что Слово прежде всего обращено к людям, родным по языку. Потому стихи, написанные на русском, это – достояние русской литературы, и я как русский человек законно горжусь, что у меня есть Пушкин, Тютчев, Блок, Есенин и Ахматова. Это мой язык с первых месяцев существования. Словами на этом языке обозначались самые близкие мне мать, отец, бабушка, потом домашние вещи, затем трава и деревья, а позже такие понятия как душа, любовь, смерть.

Но потому искусство и является великим явлением, что оно либо говорит с разными народами без посредства слов как музыка и живопись, либо при посредстве перевода происходит замечательное взаимопроникновение культур. Примеров тут не перечесть и, называя одного переводчика, рискуешь обидеть другого и третьего.

Два околотитературных впечатления.

В Дюссельдорфе, городе прославленном и старинном, больше всего запомнились мне огромные кленовые сухие листья, которые ветер гнал по набережной Рейна. Они почти гремели, проносясь мимо. Поражали их размеры. Мне вспомнилось из школьной поры то, что связано было с именем реки:

Прохладен воздух, темнеет,
И Рейн уснул во мгле....

Незабываемое детское впечатление. Берта Андреевна, наша учительница, читала «Лорелею» Гейне по-немецки:

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Как это звучно! Наверное, я впервые был очарован стихами на чужом языке.

Один из переводов:
Не знаю, что стало со мною,
Печалью душа смущена.
Мне всё не дает покою
Старинная сказка одна.
(Вильгельм Левик)

А разве не чудесно это:

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), «Ночная песня странника».

И сколько бы я потом ни прочёл переводов этого маленького шедевра Гёте, в сердце откликается лермонтовский:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

* * *

Мои старые друзья по Томску Вилли и Лида привезли меня в ближайший к ним городок Оснабрюк. Я знал, что это родина Ремарка, моего любимого писателя с юных времён. И что же? Мы побродили по улочкам, посидели за столиком кафе на площади под открытым небом. Разве это добавило что-нибудь в моём восприятии Ремарка? Ничего.

В давно известном пошлом толковании особенностей языков мира итальянский – для сердечных песенных излияний, немецкий – язык приказов и команд.

Но какие красивые у немцев имена цветов: Vergißmeinnicht (Фергисмайнихт) – не забывай меня (незабудка) и птиц: Nachtigall (Нахтигаль) – соловей.

Вот примеры, где звучание слова просто вызывает восторг, эмоциональный отклик, потому что в звуке – сама смысловая суть. Магнитофон (Tonbandgerät). Помню, как мой друг Андрей Сагалаев произносил по слогам этот самый Tonband-gerät, помогая руками изобразить наш неподъёмно-громадный и громоздкий старый катушечный «Тембр». Это не унижало магнитофон, он пользовался заслуженным уважением, просто он был таким – большим и тяжёлым.

А Витька Козлов в седьмом, кажется, классе школы в восторге повторял немецкое «schmutzig» (шмютцих), означающее «грязный». Так оно нравилось ему точностью звучания, такое он слышал в нём отвращение к грязи, что даже безразлично морщил нос, протягивая «ю», процеживая «ц».

В деревне Татьянаовка, в школе-восьмилетке мне довелось и немецкий преподавать. Читаем текст. Один проказник, простодушно глядя мне в глаза, произносит, старательно выговаривая: «На хер». Остальные с интересом ждут. Я отрицательно помотал головой, не поднимая голоса, поправил: «Нэер. Читается: нэер. Ха не читается». После чего все мы не исподтишка, а по-доброму рассмеялись.

* * *

Одно из самых незабываемых моих германских впечатлений – чистота и порядок, пресловутый Ordnung, который охотно поддерживается всеми. На родине мне говорили «знатоки» западного образа жизни: «А ты попробуй, брось там пачку папирос или разведи огонь в лесу – тут же выскочит страж закона и взыщет по полной». То есть, всё объяснялось страхом наказания. Но я не увидел там нигде попыток незаметно напакостить полицейскому, подбрасывая на улицу пустые пакеты и коробки... Не было этого.

Доехали с дядей Володей до окраины Дюссельдорфа, а там и пошли пешком. По лесистым горам, по жёлтой палой листве, которая пахнет так же, как у нас: остро, грустно. Встречались громадные деревья, не обхватить. Лежали упавшие стволы, древние, поросшие клочьями мха. В гору можно было подниматься хоженными тропками, а можно идти напролом, укорачивая путь, но тут, вполне как в наших лесах, начинался бурелом, трещали под ногою сучья.

В лесу достаточно мест, определённых для костра. Мы шли долго, встречали их не раз, и похоже, они расположены вполне с учётом традиционных переходов. И урны для мусора не выглядят кощунственно, как рисовал один

из побывавших «там». Дескать, представляешь, оскорбление какое: вдруг среди дикого леса – урна! Нет, там в лесу душа отдыхает, а в нашем, освоенном человеком, – печалится.

Отделённые провололочной сеткой гуляли в дикой природе олени. Потом явились кабаны, посмотрели на нас равнодушно и умчались в глубину леса. Рядом со мной, у сетки, были дети разного возраста, и я пожалел, что нет со мною моего маленького друга (я говорю о сыне).

С вершины одной горы открывался замечательный вид на Дюссельдорф. Тут стояла скамейка в соседстве с большой ёмкостью для мусора. Мы сидели, глядя сверху на старый город. И я думал: «Наверное, вот так же, десятки лет назад, можно было пройти этот долгий подъём, сесть на горке и смотреть вниз на родной город, в котором живёт отец, прожили дед и прадед, и вывески над булочной или цветочным магазином те же, только подновляемые. О, liebe Heimat! Чего их понесло на Восток, в поля неведомой России. Как же легко их, людей порядка и культуры, оболванил Гитлер. Неужели даже не думали, что увязнут там, а потом те, кто уцелеют, побегут назад, но не смогут укрыть их родные стены».

* * *

Под Ганновером жили тогда Володя и Эрна Марьины. Эрна и сейчас там живёт, а вот Володя упокоился в немецкой земле.

Они сводили меня в этакий живой музей – современное животноводческое хозяйство, ферма. Здесь всё наглядно, всё по-настоящему работает. Глядел на громадных добродушных хрюшек, почёсывал крутую голову барана, погружал пальцы в густую овечью шерсть.

Мы шли обратно, было, наверное, около нуля, потому что мелкие лужицы прихватило ледком. Вдоль дороги попадались плодовые деревья. Сорвал яблоко, надкусил, ожидая чего-то кислотоватого и был совершенно сражен изумительным вкусом. И груша оказалась сочной и спелой. Так это всё было необычно, не с лотка и прилавка, не в контексте какого-нибудь сада, а на обычной просёлочной дороге.

Накануне мы совершили ещё одну прогулку. Дорога из бетонных плит шла по большому пустынному полю. И привела на нежилое пространство. Год назад здесь располагались павильоны ЭКСПО. Некоторые сооружения сохранились, и оттого безлюдье выглядело как-то странно. Мне вспомнился тоже странный фильм Алена Рене «Прошлым летом в Мариенбаде» с такими долгими проходами по каменным пустырям. Даже из того, что осталось, можно воссоздать размах происходившего. Немецкий павильон в виде гигантского почтового ящика впечатляет, йеменский воспроизводит дворец с внутренним двориком за высокими стенами с коваными воротами...

* * *

Немецкий Ordnung впечатляет на кладбище. Долгие ряды одинаковых плит на ровном и чистом поле, ограниченном деревьями. Кто из покойных был богаче, кто беднее, кто известнее в миру, кто никак не проявился – всё это не откроется пришедшему сюда. Однообразный пейзаж рождает некое успокоение.

Умиротворение. Это пространство, отданное ушедшим, нигде не нарушается чем-то лишним и ненужным. Никогда не любил (и теперь уж не полюблю) наши кладбища, уставленные так называемыми оградками (их величают почему-то так, с уменьшительным суффиксом). Уже и в памятниках есть некая состоятельность, так ещё и в этих оградках, на углах которых то самолетики, то шары, то острые пики. И сами они – чёрные, зелёные, синие. Кое-где столы, лавки, чтобы можно было присесть, разлить, выпить. А тут ведь другое, здесь предполагается вечный покой.

Несколько лет назад я оказался на старом кладбище при деревне, которая тоже почти вымерла. Редкие здесь ограждения из штакетника повалились и сгнили. Было несколько железных, но, сказала мне сопровождавшая старушка, приехали на грузовике люди и увезли их на металлолом. Теперь это спокойное, малоприметное место, но могилы стариков, рядом с которыми я прожил когда-то полгода, мы отыскивали. И едва ли к ним кто-то ещё придет. И забытьё это будет, признаем печально, естественным.

* * *

Очень тронули в этих поездках по Германии терпимость, доброжелательность, приветливость в общении работников почты, продавцов, контролеров в трамвае. А водители автобусов дальнего следования даже шутят с пассажирами, травят под настроение истории и анекдоты.

На пути в Амстердам мы попали в штау – большую автомобильную пробку. Наш гид вёл достаточно занимательные исторические штудии, и досадовать было некогда. Этот дефицит времени мы почувствовали там, в столице Нидерландов. Мы передвигались по улицам достаточно проворно, некогда было приглядываться. Да ещё нужно держать ухо остро, чтобы не попасть под велосипед. Их там совершенно невероятное количество. Катят быстро и агрессивно, всадники выкрикивают что-то, видимо, ругательное или молчат, как бы в упор тебя не видя – не успеешь, значит, опоздал. Одного из наших задели ощутимо, ему не понравилось.

Помню название какой-то видеострашилки, фильма ужасов «Амстердамский кошмар», так это точно о них, о велосипедистах.

В конце дня всё-таки дали минут сорок на свободную прогулку. Мы с Володи́ей Михайловым (германским родственником) вышли на площадь. Тут как бы на пьедесталах кривлялись живые памятники, лица раскрашены под мрамор или медь-бронзу. Туристы фотографировались с ними. На ратуше пробили часы. Зацокали копыта, на площади появилась карета. Праздничная сбруя на лошадях, кучер на передке. Это было здорово. А потом мы снова шли группой, быстрым шагом по улице Красных Фонарей. Я как-то не сразу понял, что девушки в освещённых тёплым светом кабинках – не музейные фигуры или участники спектакля. Это товар. А, поняв, удивился: вот как всё просто. Они были разными, эти девушки: худенькие и пышные, светлые, смуглые, мулатки. Они смотрели на прохожих спокойно или занимались своим делом, причёсывались, подводили брови. Пожилой крупный дяденька приоткрыл дверь и вёл с одной из них переговоры.

Юлиан, сын Володи, моего покойного товарища по Тимирязево, теперь уже вполне освоился на новом месте жительства. И с работой ему повезло, на заводе делают многожильный кабель, производство стабильное, без кризисов и сокращений. Берётся за сверхурочную работу, получает хорошо. Дорос до бригадира производства. Потому что надёжен, понимает производственную дисциплину. Турки, когда приходит время молитвы, оставляют рабочее место, бросают на пол коврик и предаются общению с аллахом. Хозяева смотрят на это терпимо: такова традиция благодарности этому народу за послевоенное возрождение экономики.

К нашим переселенцам относятся поостороже. Хотя ни о какой дискриминации, конечно, речи нет. Просто, говорит Юлька, мы так и останемся для них другими немцами. Они и не отталкивают, но и не приближают.

За эти годы лишь с одним (!) местным немцем у него наладились товарищеские отношения. Бывают друг у друга в гостях, помогают в домашних делах. Юлиан познакомился с его дедушкой. Дедушка рассказал замечательную историю. Как-то в Дюссельдорфе устроили выставку военной техники времён второй мировой. Старика заинтересовал танк, вокруг которого он ходил, разглядывал его с разных сторон. Молодой солдат бундесвера, из obsługi, желая помочь, спросил: «Пояснить что-то, папаша?». «Спасибо, сынок, – отвечал ветеран, – я на таком танке пол-России проехал». Его танк подбили, он попал к нашим в плен, но ему с двумя товарищами удалось бежать.

Что можно было понять из окна автомобиля? Наверное, будь я водителем, оценил бы автобан. Не зря Саша, сын моих томских друзей, прибавляя газ, косил на меня испытующе. Я кинул взгляд на спидометр, машина шла на скорости 180, как будто самолёт по небу, как будто не было под нами дороги – не шелохнет, не покачнёт. Серые бетонные стены по сторонам не позволяли оценить скорость, только на просторе, вне ограждений, ты понимал, что это воистину классно.

Что-то я видел из окна автомобиля, что-то в более спокойном режиме сквозь окна электрички.

И всё-таки душевное или сердечное впечатление оставило привычное мне средство передвижения. Мы с Вилли Робертвичем сели на велосипеды и поехали улицами их селения, потом покатались вдоль длинной лесополосы. Близ обочины горели сложенные в кучи листья. Этот интернациональный горький запах пробудил чувства, которые не надо было оформлять словом – и единства мира, в котором мы живем, и близости человеческих переживаний, потому что я видел бауэра (крестьянина) средних лет, который шевелил горящую листву и созерцал огонь, опершись на грабли...

Я сказал своему товарищу: «Ну прямо как у нас». А он возразил: «Нет, тебе просто повезло. Есть всего две пятницы осенью, когда разрешают разводить костры. Но этих дней вполне хватает».

И ехали мы дальше, и Вилли говорил мне: «А вот тут внимательнее, тут ежи дорогу переходят». Я кивал. Нет, по моей вине ни один немецкий ёжик не пострадал.

Так получилось, так уж мне повезло, что посетил я Германию трижды. Второй раз мы были там всей семьей – с Ольгой и Глебом. А в третий вновь я один.

В моей сегодняшней пенсионной стабильности есть своя отрада, своя красота. Но совсем не случайным было приглашение в гости от моего ученика Юры из сельской школы 1970-х годов и его жены Эммы, давно уже граждан Германии.

Говорят, пространство растягивает время. Тот, кто в пути, проживает несколько дольше.

Вот так, продлевая жизнь, летел я в феврале 2016-го из Сибири в Москву, затем из столицы до славного города Гамбурга. А там, встреченный Юрой, катил на его «Ауди» в городок Мёльн, в окрестностях которого и живут мои друзья.

В этот раз я провёл за рубежом больше месяца. Половина этого срока прошла в путешествии на этом самом автомобиле по немецким городам, а затем и по итальянским. Об этом я подробно рассказал в своём очерке «Польза впечатлений» (он есть в книжке «Заметки о нашем времени. Вторая часть»).

Яркие картины природы и сейчас являются во сне. Какое жилище было у нас в горах, куда так долго взбиралась машина. Циферблат на кирхе золотился, как бы противясь хмари и сырому туману, стелившемуся на уровне креста. На вершинах лежит снег. Но он и здесь на крышах аккуратных домиков и на деревьях. Неподалёку ворон нашёл небольшое чёрное деревцо, устроился и начал кричать. Сначала одиноко, потом ему отозвался его невидимый мне собрат. Мы просыпались рядом со снегом: вот он, почти у порога. А потом скатывались вниз, в долину, где уже зеленела трава и поднимались робкие и мелкие белые цветы.

Вечное и временное по-особому сопрягаются, когда они рядом.

Вспоминаются встречи в несуетной обстановке.

Господин Вольфганг Шталь (Herr Stahl) – сосед моих друзей. Аккуратный и, как я сразу почувствовал, уверенный в себе человек благородного облика. При встрече я соорудил две-три фразы по-немецки. Он с улыбкой ответил. Провёл в комнату, предложил шампанского. Показал большой лист на стене – своё родовое древо, ветви тянулись на сотни лет. Родовитые ветви и с его стороны, и со стороны жены. Показал фотографию отца, офицера вермахта, отбывшего срок в лагере под Свердловском. Не замечая моего смущения, неладов с языком, он выслушал мой перевод стихотворения Аннетты фон Дросте-Хюльсхофф, следя по оригиналу. Похвалил за соблюдение размера и рифмовки, сказал, что она тоже вестфальская. «Тоже» означает, что и его род оттуда.

Конечно, пришлось общаться через Эмму как переводчика. Herr Stahl сказал, что он поклонник экспрессионизма, показал работы на стене. Я консерватор, сказал он и обвел рукою интерьер комнаты и вправду строгий, со старинной мебелью.

Наш вечер завершился в ресторане, где пили белое сухое вино. Я спросил позволения прочесть по-немецки свою миниатюру о Маленьком Принце. Произвело хорошее впечатление. Шталь напомнил мне еще один афоризм из

этой истории, кроме отмеченного у меня про приручение: «Видеть сердцем, а не глазами». Сердечно прощались и крепко обнимались с хозяйкой, спевшей, как и полагается, начало «Катюши».

Юра как-то рассказал мне то, о чём поведал ему старый товарищ Олаф Рамин. То, что он вспоминал со стыдом, но, видимо, навсегда сохранил в памяти. Так вот, Рамин зашел в больницу навестить своего учителя (тому около восьмидесяти). В это время женщина-санитар что-то проделывала у постели больного. Рамин небрежно встал в стороне. И учитель сказал ему:

– Что же ты стоишь при женщине – руки в карманы?

И однажды вечером нанесли нам визит тот самый господин Рамин с женой. Обаятельны оба. Этот мягкий пожилой человек – знаток литературы, музыки, языков. Правда, не знает русского. А я опять пожалел, что не подтянул свой немецкий. Только и смог припомнить строки «Лорелеи» Гейне, что читала нам когда-то незабвенная Берта Андреевна.

Die schonste Jungfrau sitzt
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kammt ihr goldenes Haar.

Девушка в светлом наряде
Сидит над обрывом крутым,
И блещут, как золото, пряди
Под гребнем её золотым.

(Самуил Маршак)

Ну вот, кажется, так можно закольцевать эти мои нестройные заметки о германских впечатлениях, об уроках немецкого.